

Каждый когда-нибудь становится старым. Потом очень старым. Потом...

— Ну, я-то ещё ого-го!

— Смотрю в зеркало — и не верю.

Одиночество бродит по свету. Неистребимое, жестокое, желанное, ненавистное.

— Я люблю тебя, мама! — кричу я по ночам и просыпаюсь в слезах, оглушённый собственным криком.

Я был хорошим сыном, я говорил тебе при жизни, когда большинство не успевает сказать: “Люблю тебя, мама!” Ни твоя смерть, ни долгие годы, прошедшие после неё, не смогли освободить меня от этой сладкой обязанности. Так почему же я плачу?

— У тебя мама некрасивая, — указала однажды на фотографию моя гостья.

“Странно, — подумал я, — разве так можно говорить? Разве так бывает? Неужели мамина красота как-то оценивается?”

Удивительно дурацкий праздник — Международный женский день. Между какими народами заключен договор о праздновании? Никто не знает. В воображении рисуется праздничный круг на солнечном острове, посредине которого гологрудая гаитянка с пёстрыми украшениями на голове.

Она в танце страстно вращает бёдрами, а мама с платочком в руке ходит ходоём вокруг неё — ручкой взмахнёт, каблучком притопнет, будто нашу “барыню” выганцовывает...

Унылый рынок, зачем-то работающий в праздничный день, продавцов мало, посетителей вообще нет. Продавцы — люди подневольные, приказано — торгуют. На рыночных задах, припёртых к реке и напоминающих свалку, притулилась закусочная под названием “Ласточка”. Давнее заведение, можно сказать, историческое. Сколько подобных позакрывали в городе! Уж и куда более приличных уличных кафе не осталось, а “Ласточка” живёт себе, как та птаха-береговушка, устроившая своё гнездо на недоступном крутом берегу.

Внутри, как ни странно, довольно чисто и даже уютно. Несколько тяжёлых деревянных столов, стилизованных под крестьянскую старину, такие же лавки вдоль них. Молодая пара сидит за шампанским, интеллигентного вида пропойца с размытым взглядом, в каракулевой “горбачёвке” берёт сто пятьдесят водки и “сникерс”, в углу человек в овчинном полушубке, с лицом, опалённым долгим пребыванием на улице, домучивает полторашку пива. Строитель? Дворник? Попрошайка с паперти?

Беру свою сотку и сок, сажусь напротив мужчины лет шестидесяти пяти, может, чуть больше. Прямые пряди седых волос прикрывают череп, вытянутый кверху, морщинистое лицо его спокойно и сосредоточенно, глаза голубые, но как бы с молоком, по открытой жилистой шее сверху вниз ходит острый, далеко выдающийся кадык. Разглядываю подробно, неторопливо — какое ни есть, занятие, — а понять не могу, симпатичен он мне или нет. Бывает же, детали одной хватает, чтобы оттолкнуться от человека или, наоборот, привязаться к нему. Он ощущает мой пристальный взгляд на себе, нервничает, как всякий нормальный человек стал бы нервничать, когда на него пялится незнакомец. Помял шапку и передвинул её чуть ближе к себе, заглянул под стол, где в ногах расплывалась некрасивая лужа от растаявшего снега, при этом виноватая улыбка тронула его сухие, почти бесцветные губы. Наконец, он пригладил воротничок застиранной, но чистой рубахи, застёгнутой строго, на верхнюю пуговицу. И затих. Одинок. Он ведь одинок, болезненно шевельнулось во мне. Из чего это можно заключить? Кто бы мог понять, но всё в нём кричало об одиночестве. Ну, какой, скажите мне, нормальный гражданин придёт выпить рюмку середь Международного женского дня в тёмное заведение на задах городского рынка? Только одиночка какой-нибудь, заброшенка... Вот сейчас возьму и спрошу его: ты ведь живёшь один? И он ответит, и у нас завяжется разговор, и, может быть, он расскажет, почему он в таком возрасте, когда одному особенно плохо, когда нужна живая старушка при доме, при хозяйстве, оказался в таком положении. Разговор, очевидно, уйдёт далеко, и он не успеет задать мне тот же самый вопрос...

Мужчина сидел, строго выпрямив спину, напряжённый, вытянутый, и острый кадык поршнем ходил сверху вниз. А наверно, ему нужен мой вопрос. Про себя он всё давно уже знает, а я — нет, и мутный интеллигент в “горбачёвке” не знает и, уж подавно, те двое молодых с шампанским. И тут же я понял, что вру сам себе, что в действительности мне хотелось услышать встречный вопрос и отвечать на него подробно, долго, с болью. Вот этой боли, этого искушения собственной слабостью, своей закрытой ото всех жизнью, которой ведь не поделишься просто так ни с кем, и вызвано моё подспудное желание разговаривать с вытянутым человеком. Впору садиться в медленный поезд и обрести там случайного ночного собеседника, которому нет до тебя никакого дела, но он слушает, более того, делает вид внимательного слушателя, потому что нечем больше заняться заняты глаза и уши, потому что ему всё равно некуда деваться. А ещё... Мне сделалось смешно — вот прямо живой смех начал толкаться наружу! — от догадки: тот ночной попутчик терпит тебя, чтобы дожидаться своей очереди высказаться!

А сосед напротив сидел, всё больше напрягаясь, не притрагиваясь к своей водке, и руки его беспокоились, искали чего-то. И вот они нашли. На большой, знавшей тяжёлую работу ладони открылся маленький мобильный телефон. Простой, дешёвый, с красной полоской по боку — такие ро-

дители покупают самым маленьким школьникам, чтобы те могли отозваться в любую минуту.

— Вера! Верочка! — сказал он ожившей трубке.

Голос его оказался не просто хриплым, а каким-то трескучим, изношенным до крайности — ломкий воздух, протиснутый через тесные, огрубевшие связки.

— Верочка! — всё повторял и повторял он, и было столько нежности в этой его хрипоте, сколько, показалось вдруг, никакому ясному, чистому, сладкому, звонкому голосу не передать. — Ты Наденьке, внученьке, подскажи, чтобы позвонила. Я не хотел бы, чтоб она тратила свои деньги — так ведь не отвечает телефон, что-то там у вас со связью. Уж и позднее пытался и пораньше — вызов идёт, а ответа нет. У меня всё хорошо. Да, конечно. Псылку получили, всё дошло нормально? Вы уж простите, я хотел купить Наденьке что-то посерьёзнее...

И тут он заплакал. Никогда не разглядывал плачущих людей, наверно, это нечто неприличное — разглядывать чьи-то слёзы. Засело в голове, скорее всего, от литературы — прозрачная слеза, чистая слеза... Слёзы у деда были мутными, плоскими и мутными. Наверно, он редко пользовался этим инструментом, замутилась стоялая вода... Молодцом! Голос он держал. Глаза что, глаз там не увидят.

— Надушка, наверно, уж деда догонит скоро, выросла? Платье-то в размер? — высказал он беспокойство. — Ну-ну... Ах, вы, мои золотые, Верочка, Наденька!.. Да вот же, праздник, ну да, конечно!.. Нет, с вас деньги брать не будут, я здесь специальную карточку купил, полдня объясняли тупому деду, как да что, разобрались. Слово там такое, отродясь не запомню. Но мне девушка всё сделала, наладила.

Лицо деда разгладилось, ожило, но слёзы никак не хотели высохнуть.

— Наденька пусть только наберёт, только звякнет разочек, и я тут же наберу ей сам... Филька-то... Да что Филька, живой, бегаёт, вас вспоминает: когда это мои хозяйшкы приедут? Хорошо, хорошо! Обнимаю вас! Надушке привет, и пусть деда не забывает.

Дед застыл, и всё в нём застыло — кадык на полпути, невысохшие слёзы, молчащий телефон в тёмной ладони, глаза, не видящие сейчас окружающего. Почему-то ничего хорошего не шло в эти минуты в голову: скорее всего, Надя не отвечает, чтобы не оплачивать двойной роуминг (далеко, видать, забралось семейство!), платье немодное, да и, уж точно, не впору, Филька, кем бы он ни был, давно издох от старости и ненужности.

Я приподнял свою рюмку, сделал жест в сторону соседа, предлагая составить компанию. Он меня не видел.

В “Ласточке” за это время ничего не изменилось. Думал свою бесконечную думу интеллигент в “горбачёвке”, медленно тянули шампанское с названием *Gold* молодые люди, и это казалось странным, что их не гонит, не выталкивает отсюда атмосфера заброшенности, странного уюта посреди неприютности. Куда более уместны здесь человек в овчинном полушубке, старик с вытиснутым лицом да я.

Побитый радиоприёмник загудел из-за спины буфетчицы: “Отпусти, тоска, на волю, отпусти!” “Все по теме”, — подумал я и вслушался в следующие слова: “Когда увижу счастье наяву, рассвет вдали и утро без тумана”. Я, точно, что-то досочинил за авторов, потому что слов разобрать было почти невозможно. Вот сейчас возьму и спрошу у замершего напротив меня человека: как ему услышалось — “утро без тумана” или “утро без обмана”? А правда, почему не спросить, он оживёт, он попробует напрячь память, в конце концов, он хоть как-то отреагирует на меня... Но я не сделал этого.

Мои долгие сомнения, выпить свою порцию разом или разделить надвое, решил грустный призыв, прилетевший из-за спины.

— Ну что, мужики, — обречённо выдохнула буфетчица, — с праздником, что ли?

— За наш, за бабский день!

Встрепенулись все, кроме моего соседа. Опростав свою посуду, я поднялся и стал выбираться из-за лавки. На всякий случай кивнул соседу, и тут

неожиданно он буквально взлетел над своей скамьёй, заулыбался во весь рот и, схватив мою руку, начал горячо её трясать. Какое такое благо усмотрел он в моём молчаливом присутствии, за что горячо благодарил — Бог весть. Ошеломлённый, я выходил из заведения, и в спину мне бубнил старенький приёмник: “Я сяду в лодочку и уплыву”.

Идти мне было решительно некуда, даже не имело смысла перебирать в уме знакомых — замужних, женатых, одиноких... Все настолько далеко, будто жизнь моя давным-давно прошла, и кто-то любезно придвинул книгу про меня, написанную когда-то, может, ещё до самой жизни главного героя. “Да так не бывает!” — возразят мне. Бывает. Это как несбывшиеся сны. И я вижу эту книгу — большущая, размером с полстолешницы, красноватая картонная обложка и надпись вверху и посередине: “Восточные сказки”. У нас была такая, зачитанная до лохмотьев, потому что читали её все, хотя она была принесена в дом как подарок детям. Однажды я влез домой через окно, — жили мы на первом этаже, — чтобы напиться, запалившись на улице, и увидел отца, заснувшего поверх постели. В головах у него лежала развёрнутая книга сказок, а на лице застыла улыбка, какой я не видел до того ни разу...

На улице было серо, безрадостно и как-то плоско. Грязный снег покрывал весь город, из него тянулись к грязному небу грязные деревья и кусты. Это самое трудное — пережить март, — и не потому, что он длиннее других месяцев и, как правило, вбирает в себя все ужасы долгой сибирской зимы, а как раз из-за этой свирепой, безжалостной серости, разъедающей душу и мозг. Я поднялся на мостик через речку, прозванную в народе душегубкой. Бывало, топились в ней школьницы от несчастной любви, бабы от своей безысходной радости, но чаще сбрасывали туда убиенных за карточным столом, на задах “червивки”, когда пьяному разуму не хватало аргументов, а языку — слов. Так ли — нет, прошли те чёрные времена или остались — мнительные горожане вечерами избегали ходить здесь, днём же торопились побыстрее пройти мимо этого места, им казалось, что на мостике всё время пахнет мёртвым телом. Лёд на речке стоял прочно, как в глухозимье, хотя обычно к марту забереги уже начинали парить и помаленьку оголять чёрную воду.

Здесь теперь совсем никого, а мне хотелось видеть людей, их лица, хотелось какого-то повтора неподвижного лица с застывшими ручейками слёз. Ещё хотелось вызвать в себе жалость к немногочисленным прохожим, избежавшим в этот день участи праздничного стола. Я испытывал невероятную потребность в сострадании к людям, поодиночке вычерчивающим бессмысленные маршруты по серым тротуарам. Вы только на мгновение представьте себе вычерченными на бумажном листе переходы людей в глупый праздничный день восьмого марта 201... года. Вот и получите ещё одну глупость.

Некоторое время назад случалось, я ловил в лицах прохожих знакомые черты, мне всё не давала покоя мысль, что город и почти всё привычное в нём остаётся неизменным, а люди куда-то деваются. Понятно, они стареют, но за старостью всё-таки можно разглядеть прежние очертания, увидеть знакомые знаки. Я всё жаднее всматривался — и всё меньше узнавал. И однажды я решил оставить это занятие, как несущее с собой одно лишь разочарование. Тогда я нашёл другое. Я начал искать во встречаемых схожесть со знакомыми лицами и, прежде всего, с родными. Думаете, подобное сходство — редкость? Как бы не так! Наверно, важно настроиться, захотеть. Не знаю, может, это сумасшествие какое — всякий ли нормальный человек захочет увидеть в толпе свою давно умершую мать? Захотел. Увидел. А теперь точно знаю, каждый видел — хотел или нет, не мог не увидеть!

— Мама!

Сердце стремглав падает и, кажется, конца нет этому падению. А потом медленно-медленно карабкается вверх, нехотя занимая привычное место. И долго потом смотришь ей вслед, думая, что со спины у этой женщины ещё больше сходства с матерью — походка, слегка на отлёте левая рука, а пальцами правой будто всё время перебирает что-то... Мама всегда ходила в одну

и ту же булочную, в один и тот же час, к открытию — туда привозили свежую выпечку и начинали торговать раньше всех хлебных магазинов в городе. Она ходила одна, потому что все ещё спали, да как-то и в голову никому не могло прийти составить ей компанию. А потом, когда дети поразлетелись, а отец умер, этот путь — от булочной и обратно — стал ежедневной дорогой одиночества. Сколько ей надо хлеба, одной-то? А может, и не покупала вовсе, каждый день-то, кто сейчас скажет, кто знает? Но она ходила и ходила...

Отца я видел реже. Тот есть понятно, что речь здесь идёт о людях, похожих на отца. А реже... У него внешность яркая — может, потому. Высокий чернокудрый красавец, его лицо — работа изощрённого скульптора, валяющего памятник герою: четко очерченный волевой подбородок, прямой с горбинкой нос, широко расставленные глаза, три глубокие складки на лбу. Воля и решимость читались на отцовском лице. Тут и вся правда про него была написана. И всё-таки находились в толпе похожие на него — какой-то частью лица, разворотом плеч, походкой... Только улыбкой никто не мог походить на него — отец никогда не улыбался. Я перестал искать в людях сходство с отцом, когда однажды обнаружил, что увидел похожего на него человека, который оказался моложе меня. И тогда мне увиделось моё занятие ничёмным, даже нездоровым.

Моя старинная знакомая Таня Набатникова из далёкой Москвы написала: “Когда мы были молодые, лет в 35–40, чужие смерти воспринимались как нечто естественное и даже оставляли толику удовлетворения, как будто освобождались вакансии жизненного пространства. Как в фильме “Мимино” в гостинице “Россия”, на съезде эндокринологов: “Ну вот, и ещё одно место освободилось”. А теперь, когда мне 67, каждый уход — моя личная утрата: пустеет мой мир. Выкашивает мой полк, мой взвод”.

Я помню, Таня, сколько тебе лет, мы ведь одногодки. А ты что, боишься слова “смерть”? Ты ведь неспроста упустила её (его, слово), составляя последнее предложение. Ты не могла это сделать случайно, нам всегда говорили педагоги: учись грамотности у Тани. Ты не бойся, Таня, ты просто не думай о ней. Это табу — думать о ней, как, скажем, об одиночестве. Они же брат с сестрой... А есть ещё сиротство. И знаешь, что общего у одного, другого и третьего? У них нет возраста!..

Восемь лет назад умерла моя тёща. Она всю жизнь неистово боролась за своё здоровье и не собиралась умирать. Она просто поторопилась привести в соответствие саму жизнь и её привала. Дочь не должна была умереть раньше матери. Но это случилось. Стрессовый рак — так объяснил причину смерти паталогоанатом. Никогда раньше не слышал.

Моя тёща в последнее время видела мир в мрачных тонах, и это объяснимо. Она говорила:

— Мы уже не можем извлечь из себя то, что не в силах ни дать, ни отнять никто — умение веселиться от весёлого, плакать от грустного. Мы подавили себя в себе, мы продолжаем делать это до старости, до беспредельной ненависти к самим себе, когда мы уже в толк не возьмём, почему разучились смеяться и плакать. Когда говорят, старый — что малый, имеют в виду как раз это. Тот и другой плачут и смеются, не понимая причины слёз и веселья...

Вспоминаю эти слова тёщи, а перед глазами дочь, взбирающаяся по крутому берегу Катуня с тремя маслятами в руках.

— Понимаешь, — с глубокомысленным видом сообщила она, — здесь грибы не собирают. Это вроде как растительная солидарность. Приехавшие сюда отдыхать, в основном, проводят время, как растения, и им нет дела до других растений.

— Нет, дочь моя дорогая, просто все они из города и, наверно, забыли, что пицца находится у них прямо под ногами.

К тому времени дочери исполнилось пятнадцать, и она уже начала привыкать к жизни без мамы. А я к этому привыкнуть ещё не мог. Мне казалось, что её всё время надо отвлекать, таскать за собой, а у неё уже появился новый друг — компьютер, да и масса других друзей, и она всё неохотнее соглашалась на путешествия со мной.

Да, Катунь, моё последнее пристанище, мой покой и забвение. Запалить бы костерок да собрать друзей-товарищей, с кем проводил здесь золотые дни в золотые годы. Позвал бы Жору Алексеева, художника из Питера. Он обязательно начал бы высказывать глубокие, по его мнению, взгляды на жизнь, заявил бы что-нибудь вроде:

— Этой вот сосне лет сто пятьдесят, не меньше, под ней сидели, ходили несколько поколений до нас, и ни до кого ей никогда не было дела. А человеку почему-то есть дело до неё. Человек — существо не самодостаточное, в этом отношении ему ни с чем и ни с кем не сравниться. Подтверждение тому — масса вещей, жизненных подпорок, необходимых человеку. Причём с каждым годом количество этих подпорок растёт, а с тем убывает человеческая самодостаточность, вернее, остатки её...

Так бы, наверно, сказал Жора. Или... Кто его знает, что бы он сказал нынче? А о чём бы поведал Коля Шпилов? Я сейчас как-то плохо представляю его здесь, хотя картинка, застилающая мой взгляд, была наблюдаема мной неподалёку отсюда. Коля сидит в затишке за домиком на турбазе и сочиняет свои песни. Одна из них — гимн замечательному “наплевать”. Я даже некоторые слова запомнил. Думаю, сейчас это из моих знакомых самый большой оптимист. Вот сморозил! Коля умер. А незадолго до смерти родил дочь. От простоты и ясности в отношении к жизни. От оптимизма. Который не умер вместе с ним. Как он там пел, выходя из-под пульт у Белого дома? “Я ещё вернусь на святую Русь, разберёмся до конца потом”. А я верю — вернётся... Иначе кому исполнять предписанное им же самим в обращении к русской цивилизации за подписью Савватая Кутузова из Кейптауна. Некому, Коля, так что давай, возвращайся! Твои слова: “Русский народ в своих трагических испытаниях уже возвращается к национальной идее. А она, эта идея, по задворкам которой нас водят слепые поводыри, — в авральном восстановлении утраченной соборности против эгоистического индивидуализма. Душа каждого из нас должна воссоединиться с душой народа. Только в русском обществе, спаянном соборностью, как хорошая семья, мы можем быть спокойны за будущее русских детей”.

Эгоистический индивидуализм... А что, он, Коля, индивидуализм этот, может быть альтруистическим или ещё каким-то в этом роде? Можно предположить, что индивидуализм сродни одиночеству: вне толпы, вне массы, вне коллектива, вне общества... А вот хитрые философы-индивидуалисты, например, считают, что целью и содержанием исторического процесса является всестороннее развитие индивидуальной личности и освобождение её от принудительных общественных связей.

И тут мне неудержимо захотелось обратно, в заведение с нежным названием “Ласточка”. Ноги уж, было, сами направились туда, однако разум сдерживал, напоминая: “Отпусти, тоска, на волю, отпусти!” Да не за тоской я туда, — убеждал я себя, — перекусить, толком не ел ведь ещё сегодня. И тут пришло на память. Сидим с дочерью за столом, ужинаем (не впомяну, кетати, за последние пару лет, чтобы мы хотя бы раз обедали вместе). Я поперхнулся и спрашиваю её:

— Как думаешь, почему пожилые люди чаще молодых давятся пищей? У меня по несколько раз на дню что-нибудь в дыхательное горло попадает.

— А жить торопятся, — не задумываясь, ответила она. И таким тоном — вроде как меня этот её вывод не касается. — Доживать. Вот и глотают, не пережёвывая толком.

— Может, совсем не потому. Скажем, с возрастом дыхательное горло расширяется из-за нехватки организму воздуха. Вот туда и летят всякие крошки.

— Ты спросил — я ответила, — буркнула она и закончила тему. — Как раз молодым надо больше воздуха, потому что они живут энергичнее, двигаются больше. Чего на диване особенно дышать-то? Лежание трусцой ещё не придумали.

В то время диваном я пользовался только по ночам и уж никак не больше неё. Но я тогда смолчал.

В “Ласточку” я возвращаться не стал.

А день всё длился. Правители что-то опять напридумывали с переводом часов, наверно, в этом всё и дело. Раньше в марте дни были короче. Я не хочу видеть этой сплошной серости вокруг — серый снег, серый лёд на реке, серое небо, и даже выкрашенная розовым стена дома напротив — серо-розовая. Я закрываю глаза и вижу покрытый яркой зеленью берег, жёлтые головки одуванчиков, выглядывающих из травы, солнечные блики на реке, весёлую лодочку, бегущую к дальнему берегу, и тётку, торгующую возле моста черемшой. Это же весна! Господи! В каком красивом мире мы живём! Долго ли, коротко я так простоял, — а у меня мгновениями появлялось ощущение, что я передвигаюсь, иду куда-то! — но вот я открыл глаза и обомлел. Прямо передо мной адела целая клумба тюльпанов! Сразу ничего не поняв, я подумал, будто на самом деле глаза мои против моей воли не захотели открываться, они ещё там, в загадочном мире грёз. Но нет, цветы были воткнуты в снег — кто-то аккуратно соорудил клумбу из нескольких десятков великолепных голландских тюльпанов. Что тут гадать, — окончательно пришёл я в себя, — отвергнутые цветы! Чьё-то счастье кончилось, а может, и не успело начаться...

Дочь поехала учиться в другой город. Точно такой же институт был и у нас, рядом с домом. Я не хотел отпускать её.

— Знаешь что, — сказала она и с улыбкой вроде, но в то же время серьёзно. И я вздрогнул, увидев в ней её мать! В точности! И вот это “знаешь что...”! И интонации!

— Знаешь что, — повторила она, — мне спешить некуда, а вот к тебе должны приходиться женщины. Время не прощает, когда к нему относятся с пренебрежением. Ты у меня ещё мужчина в самый раз, но всё-таки иногда заглядывай в календари... А то и останется при доме какая, я только за! Мамой буду называть!

Тут она расхохоталась, а мне что-то совсем не хотелось смеяться. Я-то наверняка знал: никого она больше мамой не назовёт.

Дочь уехала и больше не возвращалась. То есть она регулярно наезжала в гости, но виделись мы мало. Обычно она притаскивала с собой целую компанию друзей, и они почти сразу же отбывали в горы.

— Ты с нами? — спрашивала она всякий раз, наверняка зная, что я не поеду с ними в альплагерь Ак-Тру и не полезу покорять Белуху.

Женщины? Женщины в доме бывали. Но не задерживались подолгу, ибо рано или поздно отгадывали во мне стремление остаться одному.

После института дочь проехала несколько городов и, в конце концов, остановилась в Москве. Она инспектирует какие-то крупные сооружения, может, гидростанции, может, ещё что-то в этом роде. Спросишь — в ответ хи-хи, ха-ха! Не заморачивайся! Во всяком случае, на месте она не сидела.

Справедливости ради надо заметить, что я не так уж сильно печалился из-за домашнего одиночества, правда, жизнь моя изменилась, я превратился в самого примитивного обывателя из тех, кого когда-то презирал. После работы... Да, я же ещё не сказал, что работаю. Я инженер в типографии, довольно крупном и никчёмном предприятии. Почему никчёмном? Дело в том, что подобных предприятий в городе около трёхсот, и остановку или ликвидацию даже десятка из них не заметит никто. Но мы работаем, и потому — трепещите леса! От упаковок для продуктов до многотомных сочинений местных графоманов — всё наша продукция... Итак, после работы я ставлю на огонь что-нибудь из полуфабрикатов, которыми запасуюсь в получку и аванс, ужинаю и валюсь на диван (помните разговор с дочерью на тему диванной жизни? Так вот, диван победил!), включаю телевизор. И вот он, весь мир передо мной! Читать я бросил совсем, единственная книга, из которой я прочитывал на ночь глядя одну-две страницы, — это что-то вроде учебного пособия “Аварии в строительстве”, оставшаяся каким-то чудом со времён учёбы дочери. Открываю и читаю: “К недостаткам проектных решений отдельных зданий и сооружений, которые в совокупности строительно-монтажных работ привели к обрушениям, можно отнести недостаточное обеспечение пространственной жёсткости и устойчивости полносборных зданий...”

Я забросил даже свою любимую до дрожи рыбалку. С одной стороны, напарников не осталось, с другой — рыбу есть некому. Сам я её никогда не любил, а вот дочь — другое дело. Наловлю карасей — она сама вызывается чистить. Жена обычно встречала с рыбалки:

— Наловил — самому и чистить! — Иной раз подобрееет. — Так и быть, почищу, только ты её сначала усыпи, пороть живую не стану.

Потом, оставшись один, я, бывало, устраивал проверку своим подругам или, по-современному, тестировал их. Выложу улов и смотрю, выжидаю.

Ответы различались только в оттенках.

— Ни за что чистить не буду!

Или:

— Дорогой, может, ты сам почиштишь?

Когда мы расставались, совесть моя была чиста. Ну, хотя бы в какой-то части.

Обычно дочь запускала пойманных карасей в большой таз с водой, рядом ставила посудину для выпотрошенной рыбы.

— Смотри-ка, шустрый какой! Нет бы, отсидеться за спинками у других — суетится, носится туда-сюда. — Она всегда подобным образом разговаривает за делом. — Вот и заметили тебя, дурака, вот и поймали... А ты... Хитрый, да? Мол, я не я и лошадь не моя! Вы тут подыхайте, а я в сторонке подожду, не высовываясь, понаблюдаю. Нет, брат, хитрых у нас не любят, хитрый — это почти что умный, а умный — кость в горле у прочего населения. Ой, посмотрите, удрать решил! — Она возвращает в таз с водой беглеца. — Отважный, это похвально, только знай, братец, если тебя лишили воли, а потом решили сожрать, то уж сожрут непременно...

Прислушиваюсь и думаю, что вот сейчас у неё выпускной класс, пока ещё школьница, но немного времени — и попадетя ей в жизни и хитрые, и подлые, и завистливые... Да и других, даст Бог, встретит. Вон она сама-то какая — добрая, светлая, хотя и замашки мальчишечьи, и в школе дерётся, и рыбу кромсает безжалостно...

День закончился, как обычно. За исключением того, что я замёрз и, посчитав часы, проведённые на улице, прикинул: столько времени я за всю зиму не нагулял. Пришёл домой, лёг на диван и только тут понял, как устал. Подержал в руке пульт от телевизора, отложил и взял учебник. “Обрушаются конструкции, а порой здания и сооружения в процессе эксплуатации в результате перенапряжения несущих конструкций и их элементов...” Этого мне хватило, чтобы уснуть.

И всё-таки нынешний март выдался необычным. Днём плюсовые температуры иногда позволяли даже ходить без пальто. Шли дни, и всё набирало и набирало силу тепло.

Однажды вечером в новостной программе телевидения сообщили о серьёзной аварии на Лесогорской ГЭС. Мне запомнилось только, что есть опасность затопления жилых посёлков, и название реки — Вуокса. Что-то прибалтийское, финское почудилось мне в этом названии. Посмотрел в энциклопедии — Карелия. Подумал: наверно, моя драгоценная дочура уже там, это, скорее всего, по её части. И тут меня накрыло какое-то непонятное волнение. “С чего бы, в первый раз, что ли?” — спрашивал я себя. В конце концов, она не в МЧС служит, не в спасательном отряде. Но беспокойство не проходило. Тогда я набрал номер мобильного и услышал холодное: аппарат вызываемого абонента выключен или...

— Или, — вторял я, не дослушав, — или...

Я ходил по квартире, заглядывая поочередно то на кухню, то в комнату дочери, как будто она по неведомому волшебству взяла бы да вдруг очутилась в своём уголке, где ничего со времени её отъезда не тронуту. Что же делать? Не мог я взять в толк, какие действия предпринять? Бежать в аэропорт? На Москву рейсы только утром. А если пробираться прямо туда, к этой самой Вуоксе — всё равно через Москву, и потом, кто его пустит, там же чрезвычайная ситуация! И где это, я никогда не был в тех краях...



Карелия, Петрозаводск, а дальше?.. Я знал, знал эти минуты бессилия, когда видишь себя здоровым, готовым на поступки, но ситуация парализует тебя, не даёт возможности проявить ни разум, ни волю, ни смелость.

Снова и снова звоню. Или, или, или!..

Вымотанный до предела, я рухнул на диван, и тут — звонок.

— Ты чего, папка! Восемнадцать пропущенных звонков! Случилось что?

А я говорить не могу! Открываю рот, изо всей силы пытаюсь хоть что-нибудь вытолкнуть из горла — бесполезно!

— Аллё! — наконец, выпускают мои связки нечто хрипло-придушенное.

— Папа! — в голосе её уже настоящее беспокойство.

— Да-да, доченька, — произнёс я уже более-менее отчётливо.

— С тобой всё нормально?

— Да я-то в порядке, а вот ты...

— У нас тут экстренное совещание, трубу пришлось отключить. В Карелии проблемы...

— Знаю, знаю! — не дослушал я. — В новостях передали. Вот я и подумал, что тебя туда послали разбираться.

Она рассмеялась.

— Эх, папуля! Я давно уже сама посылаю. Вот ничего же не знаешь про свою дочь...

— А ты не напишешь, не позвонишь лишний раз! — рассердился я. — Занятые мы, как же!

— Приезжай давай, выбирайся, мне-то в ближайшее время не светит...

Если честно — соскучилась.

— Женихи, поди...

— Ага, в очередь! Домой иду — палками отгоняю! Всё, папка, пока, у меня аврал продолжается.

Мне отчего-то стало душно, того и гляди, сердце прижмёт. Не хватало только приступа! Пойду на улицу, подышу, решил я. Одеваюсь и поглядываю на часы: у нас восемь вечера, в Москве — пять... Смотри-ка, посылает она!..

Через три дома от моего, на углу проспекта и боковой улочки пожилая женщина продавала нарциссы. Ей-богу, не припомню, чтобы у нас в марте цвели нарциссы, правда, и март нынче больше на апрель похож. Наши, точно, не голландские, откуда у бабули быть голландским?

— Купите девушке цветы! — посмотрела она на меня без особой надежды. А голос печален, совсем не к цветам.

— Хм, цветы! — усмехнулся я, проходя мимо. — Девушке!

Сделал ещё несколько шагов и резко повернул назад. Ну, конечно же, цветы! Конечно же, девушке!

Цветы умеют улыбаться. Вы не знали? Особенно вот эти, нарциссы, ранние, весенние — цветы любви и надежды. Они преобразили моё жильё, они такие красивые рядом с ней, такой красивой!

Назавтра был выходной. С утра меня начало одолевать какое-то смешанное чувство праздника и беспокойства. Нарциссы смотрели со своего возвышения торжественно и с некоторым превосходством. Мне показалось, будто они посвежели, помолодели.

Я решил прогуляться, ходил долго, бесцельно и не заметил, как ноги сами привели меня в "Ласточку". Там был всего один посетитель, он сидел спиной к выходу, лицом к барной стойке. Заказав маленькую рюмку коньяку и кофе, я обернулся и узнал в одиноко сидящем человеке того самого пожилого мужчину, что сидел точно на этом же месте в прошлый раз! Одежда, застёгнутая на верхнюю пуговицу рубашка, напряжённая фигура... Но что самое удивительное — слёзы! Те же — плоские, мутные... И телефон в руке, только мне не разглядеть отсюда, есть ли на нём красная полоска. Как в прошлый раз, я подумал, что неприлично вот так разглядывать незнакомых людей, и ничего не мог с собой поделать. Но чем дольше я смотрел на него, тем больше сомневался, тот ли это посетитель? Лицо не так удлинено, морщин на лице поменьше, кадык — заметная деталь — не столь остро выпирает... Нет, конечно же, это не он. Это другой.